

УДК 130.2

*Бардыкова И.В.**Белгородский государственный национальный
исследовательский университет, г. Белгород, Россия.***Ф. ДОСТОЕВСКИЙ И Д. ОРУЭЛЛ: ПРОБЛЕМА ВЛАСТИ
В РОМАНАХ «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» И «1984»¹**

Аннотация. Исходным текстуальным материалом для анализа служат два романа: «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского и «1984» Дж. Оруэлла, из первого в фокус внимания попадает только одна глава – «Великий инквизитор». Задачи статьи – исследовать постановку и способы решения проблемы абсолютной власти у Достоевского и Оруэлла средствами интертекстуального и типологического анализа; обнаружить «следы памяти» претекста («Братья Карамазовы») в антиутопии «1984», общие смысловые интенции, ситуативные схождения, реминисцентные сюжетные схемы, интертекстуальную образную линию. Выявляются межтекстовые стратегии, параметры интертекстуальности и ее формы. Устанавливаются отношения семантической эквивалентности на ситуативно-содержательном, образном, композиционном уровнях. Интерпретируется проекция образа Великого инквизитора на образы Старшего Брата и О’Брайена.

Ключевые слова: Достоевский, Оруэлл, абсолютная власть, тоталитаризм, претекст, диалог, цитата, аллюзия, реминисценция.

**F.M. DOSTOEVSKY AND G. ORWELL: THE PROBLEM OF
AUTHORITY IN THE NOVELS “THE BROTHERS KARAMAZOV”
AND “1984”**

Annotation. Two great novels, “The Brothers Karamazov” by F.M. Dostoevsky, and “1984” by G.Orwell become an original textual material for analysis, the first one is represented by a chapter “The Grand Inquizitor”. The study is aimed at formulating the problem of absolute authority both Dostoevsky and Orwell and the way of its solution by means of intertextual and typological analysis; at revealing the “traces of memory” of pre-text (“The Brothers Karamazov”) in the text of Orwell’s anti-utopia; at revealing the common meaning intentions, situational convergences, reminiscence plot patterns and intertextual figurative line. In the article, it is demonstrated intertextual strategy and the measurable factor forming this one. It is specified the relations of semantic equivalence in content, figural and contex-

¹ Статья выполнена в рамках проекта РФНФ «Интертекстуальная поэтика русской художественной прозы XIX – XXI веков и теоретические основы интертекстологии» № 15-34-01013

ture levels. It is interpreted the projection of figure Grand Inquizitor on the figures Big Brother and O'Brien.

Key words: Dostoevsky, Orwell, absolute authority, totalitarianism, pre-text, dialog, quotation, allusion, reminiscence.

Последний роман Достоевского «Братья Карамазовы» писался в эпоху преддверия тоталитарной системы в России. В последние годы жизни писателя, в протототалитарный период российской истории, уже начали закладываться социально-политические предпосылки для будущего рождения тоталитаризма: распад традиционных структур, религиозных и воспитательных институтов, семейных связей, моральных норм, утверждение в качестве ведущих идей политического нигилизма, негативизма. И лишь немногие улавливали скрытые причины совершавшихся процессов, несших угрозу для культуры и духовности. К ним относился и Достоевский, гениальная интуиция которого помогла ему отвергнуть теорию «крови по совести» и создававшиеся тогда сценарии русских революций, в основу которых был положен принцип сознательного использования зла во имя будущего добра. Достоевский решительно отказался принять этот тезис. Скрытую опасность подобного мышления он увидел в неизбежности перехода от безграничной свободы к безграничному деспотизму, о чем убедительно заявил в «Бесах» и «Братьях Карамазовых».

Оруэлл, писатель первой половины XX века, жил и творил в эпоху, когда мрачные прогнозы Достоевского стали осуществляться не только в России. Он глубоко исследовал природу современной ему власти, форму правления которой обозначил как «олигархический коллективизм». Этому во многом способствовали обстоятельства личной биографии будущего классика английской литературы. Первое открытие он сделал в Бирме, где служил полицейским: белый человек, становясь тираном, наносит смертельный удар по собственной свободе («Бирманские дни»). Приход к власти Гитлера в Германии подвел к выводу о том, что всегда найдется новый тиран, готовый сменить старого («Заметки о национализме»). Как участник гражданской войны в Испании он стал свидетелем террора по отношению к инакомыслящим, который оправдывался политической необходимостью, и осознал испанские события 1936 г. как войну двух тоталитарных идеологий («Дань Каталонии»). Политические процессы 30-х гг. в СССР подвели к мысли о том, что революции неизбежно изменяют своей природе и что во имя нового строя коллективная воля осуществляет насилие над личностью. В это время в его публицистике появляется мученический образ безжалостной к самой себе страны. Позднее о социально-политической сюрреальности любого тоталитарного режима будут написаны «Литература и тоталитаризм», «Писатели и Левиафан», «1984», «Скотный двор». В итоговой статье «Почему я пишу» Оруэлл сделает показательное признание: «Каждая всерьез написанная мною с 1936 г. строка прямо или косвенно была против тоталитаризма и за демократический социализм, как я его понимал» [Оруэлл, 1992, 12].

Поэма «Великий инквизитор», сочиненная Иваном Карамазовым, - одно из самых спорных мест в романе Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». Ее положения пытались раскодировать как религиозные мыслители (В.Соловьев, В.Розанов, С.Булгаков, Н.Бердяев, С.Франк), так и литературоведы (М.Бахтин, В.Ветловская, А.Долинин, Т.Касаткина, Ф.Тарасов, Г.Фридлендер, Р.Белнеп, Д.Томпсон, и др.). Удивительная по силе мысли и эмоционального накала, поэма и до сих пор не поддается прочтению и социокультурной атрибуции.

Как религиозно-метафизическая и нравственно-правовая «модель» поэма базируется на постановке вечных, «проклятых вопросов», ретроспективно уходящих в XVI в., когда происходят события, но уводит в XIX в., когда она создавалась, и в перспективе предусматривает экстраполяции в XX и XXI века. С помощью трех символических фигур (Иисуса Христа, испанского кардинала и Духа зла), ведущих полемику, Иван Карамазов создает своего рода «триалог» между кардинальными культурно-историческими парадигмами: теодицеей, антроподицеей и дьяволодицеей.

Поэма создана выпускником естественного факультета Московского университета, выступающим в романе в трех ипостасях: как социолог, литератор и философ, вторгающийся в область «последних вопросов». Двадцатитрехлетний Иван – личность неординарная и неоднозначная, наделенная выдающимися интеллектуальными способностями. Это обладатель «разорванного» сознания и персонального подполья, в темных лабиринтах которого «полно демонов», антигерой, продолжающий линию Раскольникова, Свидригайлова, Ипполита Терентьева, Кириллова, Ставрогина. Поэма сочинена человеком, который имеет значительный опыт журналиста, виртуозно владеющего техникой интеллектуальной провокации. В активе блестящего полемиста и мастера литературного эпатажа – публицистические статьи, литературные рецензии, критические статьи-обзоры книжных новинок, спорное богословское сочинение о церковном суде. При этом Иван уточняет, что письменного варианта поэмы, ее рукописи нет; она существует в устной форме, он «ее выдумал и запомнил» (224). Не будучи «поэтом», Иван представляет прозаический пересказ «фантазии», к комментированию которой подключается Алеша.

Выйти на содержательный уровень карамазовской поэмы помогает анализ ее формы, композиционной соотнесенности и расположения структурных единиц, системы устных пересказов (вводимых по принципу подобия или контраста) и их последовательности.

Поэма-импровизация, или легенда (В.Розанов), начинается с экспозиции – краткого предисловия, информирующего о времени действия – знакомом пространстве европейской истории (XVI в., эпоха инквизиции) – и о месте действия (пространственные маркеры – Испания, Севилья). В предисловии-справке обнаруживается ряд «точечных цитат» (термин М.Ю.Беляковой), связанных с именами писателей (Данте, Гюго), названиями произведений («Собор Парижской Богоматери»), именами исторических личностей (Людовик XI) и библейских персонажей (Мадонна, Дева Мария,

Христос). При этом имена Данте и Гюго не просто «точечные цитаты», они функционируют в качестве отдаленных литературных реминисценций, подразумевающих переключки вводимой Иваном далее поэмы «Хождение Богородицы по мукам» с «Божественной комедией» итальянского поэта и французским романом, описывающим средневековое театральное представление о «милосердном суде» Девы Марии.

Следующий структурный компонент-интродукция – краткий пересказ (по мнению Н.А.Фатеевой, пересказ есть «эксплицитная метатекстуальность», [Фатеева, 2000, 142]) «монастырской поэмки» о посещении Богоматерью ада. Ее главные идеи (спасительная добродетель, страдание, милосердие, забвение людьми Бога) прямо соотносятся с проблемно-тематическими комплексами произведений Данте и Гюго. В аду Дева Мария, сопровождаемая архангелом Михаилом, видит мучения грешников, погруженных в «горящее озеро». Во всех изданиях этой средневековой легенды грешники корчатся в агонии в «огненной реке». Достоевский использует апокалиптический образ огненного озера (Откровение, 19:20; 20:10), куда повержен дьявол, чтобы связать события романа с «последними временами», Страшным судом. Пересказ поэмы о Деве Марии, образ которой строится на идее небесного заступничества, милостивого освобождения от мук вечного наказания, выступает в роли пролога, «соприсутствующего», сопрягающего, *разъясняющего* по отношению к «пересказу-реципиенту» - легенде Ивана. Однако разъясняющего не ко всей поэме, а только к начальной ее части, где речь идет об ожидании народом второго пришествия Христа и где (по ассоциации с поэмой о Деве Марии) вводятся темы «безмерного милосердия» (226) и «бесконечного сострадания» (227), осознающиеся в качестве общего смыслового ключа и создающие сюжетно-функциональную параллель.

Для характеристики поведения ждущих Христа людей приводится ряд неатрибутированных цитат из религиозных текстов, рассчитанных на узнавание. Это точные цитаты из Откровения Иоанна (225), искаженные цитаты из Евангелия от Марка (225) и Псалтыри (226), усеченная, сокращенная цитата из Евангелия от Матфея (226), а также строки из стихотворений Ф.Шиллера («Желание») и Ф.Тютчева («Эти русские селенья...»). Картина встречи Иисуса опирается на евангельские сюжеты и образы: исцеляемого слепого старика, детей, встречающих Иисуса ликованием, воскресшей девочки. В подобных случаях автор текста «эксплуатирует реконструктивную интертекстуальность» [Смирнов, 1995, 21]. Огонь инквизиторских костров аллюзивно (т.е. с помощью «конструктивной интертекстуальности» - Смирнов, 1995, 20), противопоставляется «огню сердца» и «огню любви» Христа» (227). По предположению В.Л.Комаровича, это интертекстуальное включение отсылает к стихотворению Г.Гейне «Мир» (XV, 558).

Для усиления атмосферы «темной, горячей и бездыханной севильской ночи», в которой только что отпыхали костры инквизиции, трижды используются литературные цитаты: дважды повторенные строки из поэмы А.Полежаева «Кориолан» (226, 227), переименованные и немаркированные, и измененная цитата из трагедии А.Пушкина «Каменный гость» (227). Указан-

ные цитаты и аллюзии делают интертекстуальную связь максимально выразительной, так как в культурных кодах Испания и Севилья – реалии, отягощенные «литературной памятью».

Симптоматично, что пересказ финала этой части, связанного с арестом Иисуса, дается уже по контрасту первому пересказу о Деве Марии. Способ их взаимодействия меняется. Интеграции смысла с рассказом Великого инквизитора не происходит: примыкание обретает полемический характер.

Основная часть главы тоже основывается на устном пересказе, который сам по себе, как отмечалось выше, является интертекстуальным элементом, своего рода развернутой интертекстуальной отсылкой. По сути это монолог испанского кардинала, с помощью которого осуществляется «перевод эзотерической темы о втором пришествии Христа в плоскость сугубо земную, мирскую, в сферу гражданскую и политическую» [Сараскина, 1996, 286].

Свой монолог Инквизитор также начинает с пересказа еще одного претекста – рассказа об искушении Христа дьяволом, представляя сконцентрированный «сгусток» данного сюжета. Базовым текстом для цитации выбирается Апокалипсис. У Иоанна первосвященник заимствует образы зверя (230, 235) и блудницы, сидящей «на звере багряном» (235, 236). Они расширяют интертекстуальное поле, включают механизм семантических ассоциаций, прямо перекликаясь с ветхозаветными образами «вавилонской блудницы», вавилонской башни (235), с авантюрой неугодного Богу строительства башни до небес. Благодаря данным перекличкам и создается система межтекстовых отношений.

Подчеркнем, что в уста кардинала вложена лишь одна фраза, являющаяся литературной реминисценцией: о «маленьких детях, взбунтовавшихся в классе и выгнавших учителя», которые, став взрослыми, «ниспровергнут храмы и зальют кровью землю» (233). По наблюдениям В.Е.Ветловской, эта реплика отсылает к стихотворению Н.Огарева «1849 год» (XV, 561). Другим интертекстуальным элементом стала не точно воспроизведенная цитата из стихотворения А.Пушкина «Воспоминание», которой сам Иван фактически и завершает свою «фантазию».

Анализ показывает, что в монологе католического первосвященника реестр цитат, образующих конструкции «текст в тексте», невелик, так как цитатное слово не просто индикатор претекста, а знак диалогичности. Диалог же (как форма речевой коммуникации и конститутивный элемент легенды) невозможен, потому Божественное Слово так и не произносится.

В центральном эпизоде поэмы Инквизитор конструирует программу будущего тоталитарного миропорядка, абсолютно закрытого земного царства, в котором человечество принимает предложение дьявола - «чудо, тайну и авторитет»: «Пятнадцать веков мучились мы с этой свободой, но теперь это кончено и кончено крепко» (229). Идеал Инквизитора представляет собой инверсию пророчеств о Царстве Небесном, т. е. ложное царство антихриста. Вместо всеобщей любви между людьми – любовь к кесарю и его приближенным («они будут любить нас как дети»). Вместо детей Отца Небесного – дети земного тирана, вместо «всеобщего воскрешения» - вечное забвение, вместо

равенства и свободы – рабство. В итоге, по терминологии Э.Сандоза, – земной «политический апокалипсис» [Sandoz, 1971, 132].

Идея деспотической власти персонифицирована в личности девятнадцатого столетнего Инквизитора, уверенного в допустимости абсолютной власти одного человека над другими людьми. Это власть без каких-либо религиозных, правовых и нравственных ограничений, право на которую узурпировано инквизицией. Цель инквизиции как института римско-католической церкви – розыск, суд и наказание еретиков. Но кардинал отстаивает и ее право посягать на авторитет Бога, присваивать себе его властные функции на земле.

Для Джорджа Оруэлла Великий инквизитор стал прообразом двух «архитекторов» тоталитарного мира, изображенного в «1984»: Старшего Брата, вождя правящей партии, и представителя партийной элиты О'Брайена. Именно в связи с этими персонажами автор антиутопии размышляет о власти, об общественных катаклизмах, надломах человеческого духа, разрывах и диссонансах в моральном сознании. Тотальный универсум обрел свое бытие и свои более четкие очертания в XX столетии. И в романе писателя первой половины XX века нашли художественное воплощение многие идеи Достоевского, предупреждавшего о грозящих впереди опасностях и трагических противоречиях, а также мысли его антигероев – Инквизитора и Ивана Карамазова.

У Оруэлла о специфике абсолютной власти в XX в. вещает один из идеологов Внутренней партии: «Партия стремится к власти исключительно ради нее самой. Нас не занимает чужое благо, нас занимает только власть. Ни богатство, ни роскошь, ни долгая жизнь, ни счастье – только власть, чистая власть <...> власть не средство; она – цель» (206).

Тотальная власть в «1984» персонифицируется в лице Старшего Брата, находящегося на вершине партийной пирамиды и являющегося антропологическим символом тоталитарной власти в Океании, где существует культ вождя-полубога. «Спаситель мой!» (23), - восклицает безымянная жительница Лондона, адресуясь к портрету с надписью «Старший Брат смотрит на тебя» (13). «Бог – это власть» (207), - заявляет О'Брайен, причисляющий себя к «жрецам власти» и раскрывающий основные принципы партии, пришедшей на смену инквизиции.

Совершая экскурс в прошлое, О'Брайен демонстрирует Смиту разницу в методах инквизиции и партии: «В средние века существовала инквизиция. Она оказалась несостоятельной. Она стремилась выкорчевать ереси, а в результате их увековечила. За каждым еретиком, сожженным на костре, вставали тысячи новых. Почему? Потому что инквизиция убивала врагов открыто, убивала нераскаявшихся; в сущности, потому и убивала, что они не раскаялись. Люди умирали за то, что не хотели отказаться от своих убеждений. Естественно, что вся слава доставалась жертве, а позор – инквизитору, палачу <...> Мы таких ошибок не делаем. Все признания, которые здесь произносятся, - правда. Правдой их делаем мы. А самое главное, мы не допускаем, чтобы мертвые восставали против нас» (199).

Но партия нового типа претендует на власть над телом, разумом, материей (внешней реальностью), законами природы и над душой человека. «Мы обратим еретика, мы захватим его душу до самого дна, мы его переделаем. Мы выжжем в нем все зло и все иллюзии; он примет нашу сторону – не формально, а искренне, умом и сердцем. Он станет одним из нас, и только тогда мы его убьем» (200). В соответствии с логикой двоемыслия прежде чем вышибить мозги, надо сделать их «безукоризненными».

И у Достоевского, и у Оруэлла цель «переделки» достигнута. Великий инквизитор, сначала истово верующий в дело Христа и готовившийся встать в число Христовых избранников, тоже оказался в пустыне, где питался кореньями и благословлял свободу, но потом «очнулся» и «примкнул к сонму тех, которые исправили подвиг Христа» (237). Здесь Достоевским четко заявлена проблема искушения властью. Кардинал, не устоявший перед дьявольскими искушениями, стал адептом безмерного властолюбия. Даже Христа пытался искушить властью дух «самоуничтожения и небытия»: «Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков для их же счастья, - эти силы: чудо, тайна и авторитет. Но Ты отверг и то, и другое» (232). Чудо – это камни, обращенные в хлебы земные и оказавшиеся нужнее хлебов небесных. «Кому же владеть людьми как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлебы их» (235).

Такой же логикой руководствуются и высшие партийцы в «1984», сознательно создающие вечную нехватку потребительских и продовольственных товаров, организующие голод. («Жизнь – это ежеминутная борьба с голодом», 85). Соблазняя лишним куском скверного хлеба и мыла, сахариновыми таблетками и синтетическим джином, дополнительной пачкой тупых лезвий или папирос, они заставляют обитателей «Взлетной полосы №1» «жить хлебом единым», забыть о своих духовных потребностях и «слепо повиноваться тайне, даже мимо их совести» (234).

В роли демонического искусителя в антиутопии Оруэлла выступил провокатор О'Брайен, соблазнивший Смита запрещенной книгой, якобы сочиненной «еретиком» и «врагом народа» Э.Голдстейном. Он же заманил Уинстона в организацию-призрак «Братство», «катехизисом» которой и служила книга-мистификация. В «Теории и практике олигархического коллективизма», написанной самим О'Брайеном, имелось немало страниц, иллюстрирующих природу власти в тоталитарном государстве.

Чтение «подпольной» книги позднее было дополнено развернутыми комментариями О'Брайена во время тюремных истязаний «еретика» Смита. Финал «формовки сознания» героя – предательство себя и Джулии, вера в бессмертие партии и ее лидера, любовь к Старшему Брату и идолопоклонство ему. (Заметим в скобках, что выражение «Старший Брат» в западной политологии стало метафорической заменой имени Сталина). Таким образом, Оруэлл дополняет представление Достоевского о демоническом, богоборческом характере абсолютной власти мыслью о тотальных разрушениях, про-

изводимых ею в сфере человеческого духа, в его ментальных, этических и экзистенциальных структурах.

Абсолютная, деспотическая власть, по мнению Достоевского, это власть, совершающая коварные подмены, зло в маске добра. Об этом убедительно свидетельствуют откровения Великого инквизитора о свободе, счастье, грехе, лжи, оказавшегося атеистом. Кардинал, который «в пустыне бесновался, побеждая плоть свою, чтобы сделать себя свободным» (238), теперь прямо отождествляет свободу и рабство: «О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся <...> Они сами убедятся, что мы правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода Твоя» (235). Кардинал уверен, что малосильный и порочный народ «не может справиться со своей свободой» (238), что его, как стадо, надо вести за собой, «сняв с сердец столь страшный дар, принесший им столько муки» (234).

У Оруэлла тема свободы тоже ассоциируется с темой рабства. В Океании идея Великого инквизитора приобрела афористическую форму («Свобода – это рабство») и превратилась в один из главных партийных лозунгов. В условиях диктатуры партии у ее членов «свободы выбора нет ни в чем» (166). В том, что свободный выбор в познании добра и зла мучение, сумел убедиться и Смит, некогда записавший в дневнике: «Свобода – это возможность сказать, что дважды два – четыре. Если дозволено это, все остальное отсюда следует» (70). В контролируемых пределах свобода допустима только для пролов – «бессловесной массы», управлять которой несложно. Как гласит еще один партийный слоган: «Пролю и животные – свободны» (64).

Упрекая Христа в нежелании «лишить человека свободы» (230), в том, что он «поставил свободу выше всего» (231), «отверг знамя хлеба земного и отверг во имя свободы и хлеба небесного» (232), кардинал квалифицирует свободу выбора как «страшное бремя», «несчастье», «невыносимую, мучительную заботу человека, не знающего, кому бы передать этот дар свободы» (232).

Вопросы «пред кем преклониться?», «кому передать свободу?» оказались принципиально важными для обоих романистов. О потребности «общности преклонения» витийствует Инквизитор, о преклонении перед партией и о необходимости трансформации тайной ненависти к Старшему Брату в обожание к нему рассуждает О'Брайен. «Вы должны любить Старшего Брата. Повиноваться ему мало – вы должны его любить» (220), - вбивают эту мысль в голову арестованного Смита. (Попутно заметим, что любовь к Старшему Брату трактуется некоторыми англоязычными культурологами (например, К.Смолл) как истинная «божественная любовь», а любовь к Джулии – как «ложная и земная». В итоге сам роман весьма некорректно прочитывается как чудовищная пародия на евангельский текст [Small, 19]).

«Люди все равно падут пред идолами» (232), издавая рабские восторги невольников, - убежден кардинал. «От любого члена партии требуется, чтобы он был невопрошающим невежественным фанатиком и в душе его господствовали страх, ненависть, слепое поклонение и оргиастический вос-

торг» (150), - утверждается в книге-мистификации, приписываемой «врагу народа», «главному осквернителю партийной чистоты» Э.Голдстейну. Как видим, солидаризируясь, оба писателя аналогично ставят проблему власти: пред кем преклонятся люди? - перед идолами, пленившими их совесть и обещавшими заменить свободу счастьем.

Данный ответ позволяет раскрыть дилемму «свобода или счастье» и сделать лейтмотивным вариантом темы счастья тему подчинения. Кардинал ставит себе в заслугу то, что они побороли свободу, чтобы сделать людей счастливыми. «Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми?» (229) – задает риторический вопрос Инквизитор. Данную точку зрения разделяют и власть придержащие в романе Оруэлла, уверенные в том, что для подавляющего большинства людей счастье лучше свободы, поэтому «партия – вечный опекун слабых, преданный идее орден, который творит зло во имя добра, жертвует собственным счастьем ради счастья других» (205). Эта мысль прямо перекликается с идеей, заложенной в образ «страдающего Инквизитора» (237), лицемерно аггестующего правителей как единственных несчастных, «страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла» (236). Такова, по его мнению, цена за власть.

Вслед за Достоевским, Оруэлл обращается к образу муравейника, олицетворяющего «счастливое» человечество и неоднократно использованного русским писателем в его произведениях. Великий инквизитор видит единственное спасение в том, чтобы «соединиться наконец всем в бесспорный общий и согласный муравейник» (235).

У Оруэлла образ муравейника возникает в связи с описанием «убогой муравьиной жизни пролов» (73). В обоих случаях образ муравейника – результат неверия правящих в «слабое, вечно порочное и вечно неблагодарное людское племя» (231), способное броситься подгребать горячие угли к костру «еретика» Христа.

Общность позиций Достоевского и Оруэлла выявляется и в связи с решением тем греха и лжи. «О, мы разрешим им грех, - восклицает кардинал <...> мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения <...> наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя <...> Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами <...> все судя по их послушанию» (236). Аналогичная ситуация сложилась и в тоталитарном социуме Океании. Партия, насаждающая пуританство, преследует цель, точно сформулированную Джулией: «...половой голод вызывает истерию, а она желательна, ибо ее можно преобразить в военное неистовство и в поклонение вождю» (107). Однако «негласно партия даже поощряла проституцию – как выпускной клапан для инстинктов, которые все равно нельзя подавить» (59). Внебрачная же связь между членами партии – непростительное преступление и бунт. Не случайно Уинстон говорит возлюбленной: «Ты бунтовщица только ниже пояса» (124).

Общим средством удержания власти и манипуляции сознанием у Достоевского и Оруэлла является ложь. В кардинальском панегирике абсолют-

ной власти рефреном звучат слова: «Мы их обманем опять», «мы обязаны лгать», «мы должны принять ложь и обман» (238). Только ложью, силой и устрашением можно вести людей по пути законопослушания – убеждение Инквизитора. «Мы должны обманывать их всю дорогу, чтобы они как-нибудь не заметили, куда их ведут, для того, чтобы хоть в дороге-то жалкие эти слепцы считали себя счастливыми» (238).

«Ложь все время должна быть на шаг впереди истины» (169) – убеждение О’Брайена, и этому правилу неукоснительно следуют в министерствах правды и изобилия, в которых «ложь превращают в правду» (122). Прошлое подгоняется под настоящее, статистика перекраивается, фотодокументы, статьи, книги, фильмы фальсифицируются, ошибочные пророчества Старшего Брата исправляются. Таким образом, ложь, навязанная партией, поселяется в истории и становится правдой. «У Оруэлла властители пребывают в уверенности, что не существует никакой такой объективной правды, которую при помощи их методов нельзя было бы вывернуть наизнанку» [Connley, 124].

Тема лжи у русского и английского писателей коррелирует с темами насилия, вины и страха. Страх у Достоевского и Оруэлла способен держать в узде маргиналов, которые не должны даже психологически восставать против власти. «Страх создает питательную среду для двоемыслия и придает гипнотическую силу идеологическим заклинаниям» [Winniffrith, 207]. Функцию же постоянно поддерживаемого чувства вины (как психологического феномена) можно прокомментировать словами Э.Фромма: «Реакция на чувство вины состоит в том, чтобы стать бесправным и бессильным, полностью отдать себя на милость властей в надежде на прощение» [Фромм, 201].

Показательна полемика англо-американских исследователей по поводу оруэлловской политической теории. Одни (как, к примеру, П.Робинсон) убеждены: открытие Оруэлла в том, что «XX век - как век толпы – привел к власти не монарха, а «человека массы», безликого, наполненного сведениями, нужными только для выполнения контролируемых операций. Не испытывая никаких комплексов, посредственный и серый индивид амбициозно возводит свое бескультурье в право и таким образом самоутверждается» [Robinson, 92]. Другие, наоборот, пытаются доказать, что «к власти в XX столетии приходит не «человек массы», а человек интеллектуальной элиты, получающий ключ к пульта управления обществом и правящий в мареве иллюзий» [Beauchamp, 83]. Третьи, ссылаясь на знакомство Оруэлла с книгой Бернхейма «Революция управляющих», уверены, что писатель «разделяет идею Бернхейма об управлении обществом интеллектуалами как о деспотии новейшего образца» [Weatherby, 131].

На наш взгляд, Оруэлл сделал целый ряд принципиально важных для человека XX века выводов. Идеологические баррикады и «игры» не менее страшны, чем революционные, так как в огне революций, на обломках старого режима рождается не свобода, а диктатура нового типа. Общество в XX столетии идентифицируется с властью, которая дается не одному человеку, а целому коллективу членов правящей партии, выполняющему роль политиче-

ской инквизиции. При этом один из коллектива становится магическим символом этой власти (как «вечно живой» Старший Брат).

Стоящие у власти осуществляют тотальную идеологизацию духовной жизни, заполняя все социальное пространство авторитарными идеологемами, отвечающими интересам властей и подчиненными политической прагматике. В результате тоталитарный мир – это своеобразный антимир идеологической «сюрреальности», перевернутых смыслов и современных мифов, основное назначение которых – деформация и мифологизация реальной действительности. Убедительным примером служит сконструированный воображением Смита миф о некоем Огилви, павшем в бою смертью храбрых. Придуманное «житие» смелого вояки сознательно вписывается Уинстоном в героический стереотип как пример для подражания. «Товарищ Огилви никогда не существовал в настоящем, а теперь существует в прошлом – и, едва сотрутся следы подделки, будет существовать так же доподлинно и неопровержимо, как Карл Великий и Юлий Цезарь» (46).

Есть еще один актуальный для сегодняшнего дня вывод Оруэлла: идея тоталитаризма живет в сознании интеллектуалов XX в. везде (не только в Германии, СССР, Италии, но, в частности, и в Англии, где происходят события романа).

Изучение интертекстуального пространства манифестного текста Оруэлла показывает, что в антиутопии наличествует ряд «точечных цитат» из других культурных текстов: по одному разу приводятся имена Шекспира, Карла Великого, Юлия Цезаря, святого Себастьяна. Есть несколько повторяющихся цитат из детских страшилок и модных песенок для пролов. Говорить об исключительной аллюзивной нагруженности текста «1984» не приходится. Единственным примером литературной реминисценции является реминисценция на роман Д.Лондона «Железная пята», откуда заимствованы понятия «прол», «Братство» (как «Эра Братства»), «олигархия» (подмечено В.Чаликовой). Единичен и пример автоинтертекстуальности – это один из партийных лозунгов «Пролы и животные свободны». Здесь автор выступает как лицо, соединяющее один свой текст («1984») с другим («Скотный двор»), устанавливая семантическую эквивалентность между ними.

Такая ситуация с «оголенностью» интертекстуального поля романа, на наш взгляд, вполне закономерна и мотивирована. Тоталитарный мир – мир без прошлого, блуждающий в путанице смыслов. Вступить обыкновенному человеку в пространство исторической памяти невозможно. Это мир без культуры, ценности которой превращены в Океании в бесконечно малые величины, а диалогическое сознание вытеснено авторитарно-узурпирующим, предельно заземляющим духовные смыслы культуры.

Достоевский, считавший, что в России народ столетиями жил отдельно от власти, тем не менее постоянно исследовал природу власти, ее механизмы и атрибуты. Этой же проблемой озабочены и многие его антигерои, в том числе и Иван Карамазов, виртуальным двойником и плодом метафизического воображения которого стал Великий инквизитор. Сознание западника Карамазова, знакомого с позитивистскими теориями, отвергающими Бога,

бессмертие души и весь метафизический мир, считающего себя атеистом, на деле раздваивается между ренессансной антроподицеей и барочной теодицеей. Об том и свидетельствует его поэма, воплотившая как эмпирическое «я» своего автора, так и его метафизическое «я». Морально-психологический феномен, связанный с Иваном, «русским Фаустом», заставлял задуматься о вседозволенности как универсальном принципе деятельности, о тотальном всеотрицании, приверженности любым средствам для достижения целей.

Великий инквизитор очертил контуры будущего тоталитарного мира. Его устами заявлялось, что абсолютная власть имеет право накладывать ограничения на свободу и даже ликвидировать ее, ибо свобода – вопиющая аномалия. Власть должна подчинить себе все элементы системы, превратив силу авторитета в авторитет силы. Людей нужно лишить морального иммунитета против власти, совершающей физическое и духовное насилие и подающейся воздействию только энтропийных начал. С пути, ведущего к цели, следует убрать все мотивационные препятствия религиозно-нравственного и правового порядка. Не случайно художественный универсум романа – мир пророчеств о катастрофическом характере русской истории, о будущих бедах и страданиях России, похожий на Откровение Иоанна Богослова. И сам Достоевский, ориентированный на Христа, сознательно и свободно взошедшего на Голгофу, в отличие от своего персонажа, осознавал весь трагизм ситуации. Писатель связал энтропийно-деструктивную тенденцию абсолютной власти с войнами, преступлениями, террором, распадом мировоззренческих констант, разрушением духовной субстанции культуры, деформацией морального сознания. И оказался прав, что подтверждается не только романом Оруэлла, но и событиями XX века, в котором власть стала порождением тоталитарного мира.

Но если поэма Ивана была попыткой обоснования принципа «все дозволено» и насилия как идеи, перерастающей в историософскую и религиозную тему падшего человечества, злокозненной судьбы человеческого рода, то у Оруэлла свобода отождествляется с вседозволенностью. Вместо «чуда, тайны и меча кесаря», о которых говорил кардинал, у Оруэлла – воля к власти, мания и магия власти («Бог – это власть»). Решая проблему власти, автор «1984» заметил и зафиксировал изменения в глубинных психологических структурах людей XX века, в сферах индивидуального и коллективного бессознательного. В антимире «1984» воплотились мечты Шигалева, Петра Верховенского («Бесы») и Великого инквизитора: исчезли различия между свободой и рабством, несвободой и счастьем, войной и миром, добром и злом, правдой и ложью. Народ превращен в «стадо», «массу», сопротивление «человеческого материала» подавлено. Из него теперь можно выстраивать любые социально-политические сооружения. Тоталитаризм практикует руководство страной по принципу управления конгломератом государственных рабов.

Сопоставив произведения, мы обнаружили сопряжение многих смысловых инстанций, нашли немало перекличек на идейно-тематическом уровне. На текст Оруэлла проецируются проблемы абсолютной власти, тоталитариз-

ма, политического нигилизма, тоталитарной идеологии, искушения властью, инакомыслия, насилия, цены за власть. Выявлены устойчивые отсылки к темам механизмов и методов власти, провокации, коварной подмены, подделки, мистификации, греха, вины, лжи, страха. Организующими становятся мотивы стада, табу, чуда, тайны, авторитета, демонического искусителя, бунта, идолопоклонства, заданные с интертекстуальной точки зрения. Особо актуализированы общие темы культа вождя-полубога, манипуляций сознанием, а также оппозиции «свобода – рабство», «счастье – несвобода», коррелирующие с оппозициями «власть – подчинение», «власть – смерть». Таким образом, степень востребованности и ассимиляции идейно-тематического пласта романа Достоевского в антиутопии Оруэлла высокая. А текстовое воплощение центральной идеи абсолютной власти в романе Оруэлла содержит как прямые интертекстуальные пересечения с этой же темой у Достоевского, так и ее творческое переосмысление. Имеет место и образная переключка: Оруэлл транспонирует в свой текст образы инквизиции (партии), инквизитора (О'Брайен) и «еретика» (У.Смит). Налицо образная параллель персонафикаторов власти: Великий инквизитор – Старший Брат – О'Брайен. Проекцией на текст «1984», по-видимому, является и образ муравейника.

М.М.Бахтину принадлежит мысль о том, что в художественной речи «каждое слово пахнет контекстом и контекстами, в которых оно жило» [Бахтин, 1975, 106]. Межтекстовые отношения между «1984» и «Братьями Карамазовыми» реализуются не в прямом заимствовании элементов или приемов, в трансформации сюжетно-ситуативных, концептуальных и композиционных структур романа Достоевского, а в использовании стратегий дописывания, дополнения, расширенного комментария и др., т.е. в интертекстуальности.

Литература

1. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Худ.лит-ра, 1975. – 504 с.
2. Ветловская В.Е. Примечания // Ф.М.Достоевский // Полн.собр.соч. : В 30 т. – Л.: Наука, 1972-1991. – Т.15. – С.523-604.
3. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М.Достоевский // Полн.собр.соч. : В 30 т. – Л.: Наука, 1972-1991. – Т.14-15. Все цитаты приводятся по данному изданию с указанием в круглых скобках соответствующей страницы.
4. Оруэлл Джордж. 1984. Ферма животных / Джордж Оруэлл. – М.: ДЭМ, 1989. – С.13–243. Все цитаты приводятся по данному изданию с указанием в круглых скобках соответствующей страницы.
5. Оруэлл Джордж. Эссе. Статьи. Рецензии / Джордж Оруэлл. – Пермь: КАПИК, 1992. – 320 с.
6. Сараскина Л.И. Поэма о Великом инквизиторе как философско-литературная импровизация на заданную тему // Достоевский в конце XX века. – М. : Классика плюс, 1996. – С.270-288.

7. Смирнов И.П. Порождение интертекста: элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества Б.Л. Пастернака / И.П. Смирнов. – СПб.: Языковой центр СПбГУ, 1995. – 191 с.
8. Томпсон Д.Э. «Братья Карамазовы» и поэтика памяти. – СПб: Академический проект, 2000. – 346 с.
9. Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов. М.: Агар, 2000. 280 с.
10. Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов. – М., 1989. – С.201.
11. Robinson P. For the Love of Big Brother // On “1984”. Ed. by P.Stansky. N.Y., 1983 P.86-97.
12. Beauchamp G. Of Man’s Last Disobedience: Zamiatin’s “We” and Orwell’s “1984” // Critical Essays of George Orwell. Ed. by B.Oldsey and J.Brown. Boston, 1986. P.79-91.
13. Weatherby J. The Death of Big Sister: Orwell’s Tragic Message // Critical Essays of George Orwell. Ed. by B.Oldsey and J.Brown. Boston, 1986. P.127-140.
14. Winnifrieth T., Whitehcer W.V. “1984” and All’s Well? – L., 1984. – 280 p.
15. Connley M. The Diminished Self: Orwell and the Lost of Freedom. Pittsburgh, 1987. – 302 p.
16. Small C. The Road to Miniluv: George Orwell, The State and God. Pittsburgh, 1975. – 143 p.
17. Sandoz Ellis. Political Apocalypse: A study of Dostoevsky’ Grand Inquisitor. Baton Rouge, 1971. – P. 132.

УДК 211.5

Бессчетнова Е. В.

*Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (Россия)*

CHRISTIAN REALISM CONTRA «REVOLT OF THE MASSES»

Annotation: in this article the author shows that after revolutions of XX century for the thinking person uncertainty in all moral values becomes fundamental. In the situation of cultural crisis, revolts of mass consciousness we clear understand collapse of all moral ideals. Person does not know what has spiritual value in his life. He doubts in all ideals and principles. And this uncertainty becomes the first step to the awareness of true foundation – spiritual reality, which is opposite to earth reality. Russian philosophers have seen the solution in the ideas of Christian realism.

Key words: revolt of masses, Christian realism, Frank, revolution, new men, culture, civilization, mass consciousness

20-th century, as Russian philosopher Fedor Stepun accurately noticed, started with the luck of evil. This luck can’t be explained with nothing but a quali-